

# Глава 3. В далёком прошлом, похожем на сон

## 1. Функция, которой пренебрегали

Исследования человеческой психики на протяжении последнего полувека наводят на мысль о необходимости более глубокого, но вместе с тем и более смелого истолкования ранних стадий развития человечества, чем все предпринятые до сих пор. Прежде всего следует усомниться в том, что любая деятельность человека объясняется его физическими потребностями. Разумеется, первобытный человек не оставался без дела, иначе он бы умер с голоду; однако существует достаточно свидетельств (появились они по меньшей мере пятьдесят тысяч лет назад), указывающих на то, что человека интересовали не только насущные заботы. Быть может, ум его порой был занят весьма необычными вещами? Ведь он — единственное существо, чью внешнюю деятельность, как мы снова начинаем понимать, невозможно целиком объяснить, не учитывая наиболее специфического рода внутренней деятельности — сновидения.

До того, как человек вышел из области бессознательного, он, скорее всего, представлял собой картину столь же жалкую и бессмысленную, какую сегодня можно наблюдать разве что на примере клинических идиотов, так как он был лишён символических инструментов сознания — образов и слов. Я полагаю, мы не зайдём слишком далеко, если представим себе этого проточеловека как создание, одержимое и мучимое сновидениями, с трудом отличающее образы тьмы и сна от образов яви, подверженное коварным галлюцинациям, беспорядочным воспоминаниям, безотчётным импульсам; впрочем, вполне возможно, что порой посещали его и приятные образы, предвещавшие удовольствия в будущем).

Сейчас, когда перечисляют те черты, что отчётливо отличают человека от всех прочих животных, — в то же время отвлекаясь от привычного стереотипа современного человека, которому нравится воображать себя просто разумным и самоуверенным существом, — как правило, оставляют без внимания область человеческих сновидений как не поддающуюся рациональному осмыслению — главным образом потому, что наиболее значительные её аспекты лежат вне пределов непосредственного научного наблюдения. Слово «сновидение» ни разу не встречается в указателе к трёхтомному отчёту (в остальном превосходному) о симпозиуме по вопросам биологической и человеческой эволюции. Это считается странным курьёзом даже среди учёных, которые по-прежнему не желают признавать методологически недозволенные откровения из области человеческого поведения, сделанные благодаря психоанализу. Ибо строго физиологические наблюдения за мозгом, проводимые в соответствии с ортодоксальнейшими научными предписаниями, указывают

на то, что мозг остаётся в состоянии тлеющей активности даже тогда, когда всё тело человека пребывает в полном покое; а ритмичные электрические колебания, сопровождающие сон, по-видимому, говорят о присутствии сновидений, даже если потом их не удаётся припомнить.

Возможно, и другие животные в некоторой степени обладают способностью видеть сны: на это указывают, например, поскуливание и подергивание собаки во сне. Но если это и так, то всё же человек совершенно по-особому распоряжается этой способностью: сновидения выходят за рамки его ночной жизни, вторгаясь и в мир дневной. Сны перемешиваются с явью, что бы он ни делал: разговаривал, работал или играл; и уже на очень ранней стадии это оставляет отпечаток на всём его поведении, ибо религиозное развитие человека со столь значимым для него «иным миром» неразрывно связано со сновидениями.

Надо полагать, человек с самого начала был сновидческим существом; и, возможно, именно богатство его снов позволило ему выйти за пределы сугубо животного существования. Пусть собаки и видят сны — но никогда ещё ни один сон не побуждал собаку подражать птице или вести себя как божество. Лишь в человеке явлена вся полнота позитивных свидетельств, указывающих на то, что образы сна постоянно вторгаются в явь и подстёгивают её; и лишь для человека они порой подменяют собой действительность — во зло или во благо. Если бы сновиденья не накладывали заметного отпечатка на поведение человека, то каждый из нас лишь благодаря собственному опыту сновидца смог бы без недоверия выслушивать рассказы других людей об их снах.

Хотя развитие языка и абстрактного мышления в известной мере вытесняет или подавляет богатые бессознательные образы сновидений, эти образы всё же играют важную роль и порой с пугающей силой снова воздействуют на человека; так, невротики, теряя ощущение реальности, оказываются ввергнуты в хаос собственного буйного воображения. Сами эти достижения — считать ли их благотворными или дурными — явились лишь сублимацией и усилением изначальных функций сновидений — вольного потока нервной деятельности, странного высвобождающего дара самого мозга.

Разумеется, никто не спорит: у нас нет никаких доказательств, что доисторический человек видел сны, — в том смысле, в каком у нас есть доказательства, что он пользовался огнём или изготавливал орудия труда. Однако существование снов, видений, галлюцинаций, фантазий прекрасно засвидетельствовано у всех народов во все времена; а поскольку сны, в отличие от прочих компонентов человеческой культуры, являются произвольными реакциями, над которыми у сновидца мало или вовсе нет никакой власти, — то было бы нелепым полагать, будто они появились лишь значительно позднее. Вероятнее всего, сновидения были более обильными, навязчивыми и яркими, пока человек не научился с помощью «внутренней цензуры» и разумного управления — одновременно с упорядочиванием своей практической деятельности, — ограничивать их роль.

Поэтому представляется разумным предположить, что сны всегда оказывали некоторое влияние на человеческое поведение; и представляется вероятным (пусть научно это и недоказуемо), что, наряду с органами речи человека, они и сделали возможным сотворение человеческой культуры вообще. Творчество начинается в области бессознательного, и

первое его человеческое проявление — это сновидение.

Сами сновидения свидетельствуют о необычно щедрой одарённости нашего организма, которую нельзя объяснить единственно принципом приспособляемости, — точно так же, как нельзя объяснить, почему некоторые люди наделены абсолютным слухом в музыке. Задолго до Фрейда Эмерсон уже сделал верный вывод, исходя из наблюдений за собственными снами. «Мы знаем, — писал он в своём «Дневнике» в марте 1861 года, — неизмеримо больше, чем мы можем переварить... Я пишу это сейчас, вспоминая некий структурный опыт прошлой ночи — болезненное пробуждение от сновидений, словно от какого-то насилия и быстрой последовательности квазиоптических зрелищ, которые сменяли друг друга подобно пиротехническим трюкам архитектурного или гротескного вида. Всё это говорит о громадных залежах таланта и замыслов в структурных глубинах нашего ума».

Возможно, первые догадки об этом бездонном хранилище звуков, образов, сочетаний и явились человеку в сновидениях. Так, благодаря сновидениям человек осознал, что окружён неким «сверхъестественным» миром — миром, на который ещё ни одно другое животное не обращало внимания. Там продолжали жить Прародители, которые таинственно и неожиданно появлялись, чтобы поделиться с человеком сокровищами своей мудрости или наказать его за то, что тот отступает от давно укоренившихся обычаев. Эти архетипические образы предков: призраки, демоны, духи, боги, — возникли из того же источника, — и человеку зачастую казалось, что они ему ближе, нежели реально окружавшая его действительность, — тем более, что он и сам принимал участие в их сотворении. Благодаря такому общению с «потусторонним миром» человек, возможно, и ощутил потребность освободиться от прежних уз унылой животной покорности.

Игнорировать бесконечный психический поток, льющийся из тайников человеческого мозга, сосредотачиваясь лишь на общении и изготовлении орудий труда как на главных функциях человека, — означает упускать из виду важный аспект, дающий ключ ко всему развитию человека: а именно, тот факт, что в его сознании всегда присутствовала субъективная, упрямая, порой иррациональная сторона, которая нередко угрожала самому его выживанию. Возможно, отчасти развитие человека совершалось как попытка взять под контроль и уравновесить неупорядоченные дорациональные и иррациональные проявления его бессознательного. Подобно яркой сексуальной жизни человека, с которой сновидение тесно связано, сновидение составляет по крайней мере часть тайны человеческого творчества, — но в то же время и тайну сбоев и срывов в этом творчестве, тех чудовищных нарушений и отклонений, о которых столь часто говорят анналы истории.

По мере развития сознания цивилизованный человек превратился в гораздо более бодрствующее существо, нежели какое-либо другое из родственных животных: он научился спать меньше и забывать или оставлять без внимания свои сны, — точно так же, как он подавлял лень, которой бывают подвержены более примитивные народы, довольствующиеся беспечной жизнью.

Это подводит нас к одному парадоксальному допущению, а именно: что сознание могло получить положительный толчок к развитию благодаря странному расхождению между внутренним миром человека — с его неожиданными образами и волнующими, хотя и

непонятными, событиями, — и внешней средой, которая была его явью. Быть может, этот разрыв между внутренним и внешним мирами не просто вызывал удивление, но и побуждал к дальнейшим сравнениям, требовал истолкования? В таком случае, это должно привести нас к ещё большему парадоксу: именно сновидения открыли человеку глаза на новые возможности его дневной, действительной жизни.

## 2. Опасность, исходящая изнутри

Хотя способность видеть сны (если такое истолкование верно) была одним из самых щедрых подарков природы человеку, она потребовала более строгого упорядочивания и контроля, нежели прочие его способности, прежде чем из неё можно было извлечь наибольшую пользу. В сыром, живом состоянии сна сновидение, благодаря своей власти сопрягать никак между собой не связанные события или выявлять неутоленные желания и эмоциональные порывы, зачастую провоцировало человека на безумные поступки, — от чего, по-видимому, совершенно защищены животные, находящиеся в более диком состоянии (разве что за немногими сомнительными исключениями).

На протяжении всей истории сновидения и наставляли, и пугали человека. И обе эти реакции имели под собой почву: должно быть, его внутренний мир нередко оказывался более грозным и менее постижимым, нежели внешний мир (да так оно и остаётся по сей день); и первоочередной задачей человека было не изготавливать орудия для подчинения себе окружающей среды, но измышлять инструменты ещё более могущественные и действенные для подчинения самого себя — прежде всего, своего бессознательного. Изобретение и усовершенствование этих орудий: ритуалов, символов, слов, образов, стандартных моделей поведения (морали) — было, как я надеюсь показать, наиболее важным занятием древнего человека, гораздо более значимым для выживания, чем производство вещественных орудий, и гораздо более важным для дальнейшего развития.

Кстати, мысль о том, что бессознательное «Я» человека часто угрожало его жизни и ставило крест на самых здравых его намерениях, — отнюдь не открытие недавних лет, хотя впервые она была чётко высказана благодаря смелым квазинаучным исследованиям Фрейда и Юнга. То, что в человеке враждует его сознательное «Я» с бессознательным, его ночная личина — с дневной, было замечено давным-давно. Платон в «Государстве» пишет: «Когда дремлет главное, разумное и кроткое, начало души, — начало дикое, звероподобное вздымается на дыбы... В таком состоянии оно отваживается на всё, откинув всякий стыд и разум... Оно не остановится даже перед попыткой сойтись с собственной матерью... Оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи... Какой-то страшный, дикий и незаконный вид желаний таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными; это-то и обнаруживается в сновидениях». [6] Если принять нашу гипотезу, то тот большой пласт иррациональности, который даёт о себе знать на протяжении всей человеческой истории, становится хотя бы отчасти объяснимым. Если человек изначально был животным, способным видеть сны, то, вероятно, он был в то же время и чрезвычайно беспокойным животным; источником же его наибольших страхов являлась его собственная гиперактивная психика. На подспудную тревогу, постоянно снедавшую его, указывает хотя бы то, что человек очень рано научился употреблять

опийный мак и прочие растения, вызывающие наваждения или оказывающие успокоительное действие.

Итак, современные психологи лишь поравнялись с Платоном. Теперь, вооружившись информацией о бессознательном — сколь бы отталкивающим и пугающим ни казалось зачастую его содержание, — мы должны лучше представлять себе положение древнего человека. По сути, он оставался голым в культурном отношении — в такой степени, что нам это очень трудно вообразить сегодня, — и, следовательно, крайне незащищённым от внутренних угроз. До тех пор, пока человек не покрыл своё несформированное «Оно» прочным слоем культуры, его внутренняя жизнь (едва только покинувшая безмятежную животную летаргию), должно быть, кишела архаическими гадами и слепыми чудищами глубин. Быть может, это отчасти объясняет, почему первобытный человек длительное время отождествлял себя с известными ему животными, которыми был окружён: как знать, не вселяло ли в него их присутствие то чувство спокойной уверенности, которое сам он, встав на путь дальнейшего развития, уже успел безоговорочно утратить? В их существовании была некая устойчивость и безмятежность, которой он теперь мог лишь завидовать.

Приступая к истолкованию докультурного состояния человека с точки зрения наших нынешних познаний в области психики, начинаешь понимать, что его выход из животного состояния сопровождали трудности, связанные с теми необычайными качествами, которые и делали сам этот переход возможным и даже — поскольку он начался — неизбежным. Конечно, куда легче было бы вообразить себе эту промежуточную стадию, если бы мы могли по-прежнему думать о человеке как о всего лишь исключительно умной и ловкой обезьяне, которая все лучше и лучше овладевает понятной и податливой средой.

К сожалению, такое рациональное представление не соответствует ни сохранившимся свидетельствам, ни необходимым выводам, которые надлежит сделать, очистив свой ум от различных культурных наслоений, ставших для нас второй натурой. До того, как человек овладел речью, должно быть, единственным голосом, который он узнавал, было его собственное бессознательное, причём голос этот изъяснялся с ним весьма противоречивыми и путаными образами. Возможно, лишь каким-то тупым упрямством можно объяснить то, что человек всё-таки сумел обратить себе на пользу эти коварные способности и преобразовать их.

Пожалуй, наилучшее представление о той ранней стадии могут дать нам австралийские аборигены, которые, когда с ними впервые повстречались европейцы, по своему укладу и образу жизни ближе всего из современников стояли к первобытным людям. Постоянно ощущая присутствие своих духов-предков, старательно следуя их заветам и чтя их наставления, они до сих пор говорят об Алчеринге (что значит «далёкое прошлое, похожее на сон»), откуда к ним пришли все их ценные знания. Как замечает Рогейм, во многих австралийских языках есть схожие слова, обозначающие сновидения, мифическое прошлое и предков.

Мне бы хотелось показать, что это отнюдь не просто фигура речи: это отсылка к тому реально существовавшему периоду человеческого развития, когда внутреннее око сновидца порой одерживало верх над бдящим глазом наблюдателя, тем самым помогая человеку

освободиться от естественных уз, приковывавших его к непосредственному окружению и текущему моменту. В тот бессловесный период существовало лишь два языка: конкретный язык связанных между собой вещей и событий — и призрачный язык сновидений. До тех пор, пока сновидение не помогло человеку сотворить культуру, оно, наверное, служило ему неким её неосязаемым заменителем — коварным, обманчивым, вводящим в заблуждение, но в то же время и будоражащим ум.

Наша крайне механизированная западная цивилизация придумала множество ухищрений для того, чтобы ограничить «пространство» сновидений: мы даже расчлняем субъективную жизнь на коллективные механизмы вроде радио и телевидения, позволяя машине творить за нас сны. Но в детстве и отрочестве сны всё-таки оказывают на нас сильное воздействие, порой перетекая в явь столь настойчиво, что погружённый в себя подросток может иногда часами бродить «как потерянный», «витая в облаках». Иногда, даже если он ведёт себя вполне обычно, он всё равно воспринимает явь как просто очень живой сон. На этой стадии взросления индивидуума все его существование может быть заполнено мечтаниями, так что реальная жизнь мало чем отличается по содержанию от сновидений, — хотя, возможно, имеет более прямое отношение к его желаниям (например, сексуального свойства), уже выбравшимся на поверхность сознания. В «далёком прошлом, похожем на сон» это было, наверное, нормальным состоянием человека, ещё не способного обращать свои сновидения либо в какие-то коллективные действия, либо в объекты.

Не следует воспринимать эту попытку проникнуть в бессловесное, лишённое общения прошлое человека, как пустые умопостроения. Имеется достаточно данных о том, что в древнейших культурах, сновидения играли главную роль. А. Хэллоуэлл так писал об одном из уцелевших племён американских индейцев-охотников: «Оджибве — это народ, постоянно живущий своими снами... Хотя они отнюдь не путают то, что случается с ними наяву, и то, что происходит во сне, для них оба эти существования неразрывно связаны. Пережитое во сне становится в один ряд с другими образами, живущими в памяти... И оно имеет отнюдь не второстепенное значение: напротив, для этих людей виденное во сне гораздо важнее, нежели события повседневной жизни». Древним народам, которые создавали великие цивилизации: египтянам, вавилонянам, персам и римлянам, — тоже было не чуждо крайне трепетное отношение к сновидениям, хотя они уже не испытывали недостатка в культуре.

### 3. Ужасная свобода человека

В мире снов пространство и время растворяются: близкое и далёкое, прошлое и будущее, обыкновенное и чудовищное, возможное и невозможное сплетаются в безнадежно запутанный клубок; удивительными здесь являются порядок, регулярность, предсказуемость, без которых и сон, и «внешний» мир — всего лишь шум и ярость, ничего не значащие. И тем не менее именно благодаря сновидениям человек впервые догадался, что есть ещё нечто кроме того, что он видит наяву: что существует незримый мир, заслоненный от его чувств и повседневного опыта, но такой же реальный, как и пища, которую он ест, или рука, которой он хватается.

По-видимому, о том, что мы знаем сегодня благодаря научным данным, полученным с помощью микроскопов, телескопов и рентгеновских лучей, древний человек смутно догадывался благодаря своим снам: а именно, что значительная часть окружающего нас мира в действительности сверхчувственна, и лишь маленький кусочек существования открыт для непосредственного наблюдения. Если бы человек не встречался с драконами и грифонами в своих снах, быть может, он никогда бы не додумался до идеи атома.

В конце концов, перед первобытными людьми, которые научились воспринимать сигналы своего бессознательного, то есть, зажили мудростью предков, отличной от простого инстинкта, открылся путь для дальнейшего развития. Но те же самые демонические силы, не находя себе достаточного выхода, способны были привести лишь к разрушительной деятельности.

На протяжении всей истории очень часто оказывалось, что люди вступали на разрушительный путь: порой это происходило в том самый момент, когда коллективная энергия группы возрастала благодаря умело направленной физической силе. А. Л. Крёбер указывал, что шимпанзе, приходящиеся человеку отдалёнными родственниками, если предоставить их самим себе, особенно склонны ко всякому разрушению: «Они очень любят все уничтожать: подобно маленьким детям, выросшим без присмотра, они получают большое удовольствие, ломая, кусая и нарочно разбивая всё, что ни подвернётся. Принявшись за какую-нибудь вещь, они редко отступаются от своего, пока окончательно не превратят её в мелкие кусочки».

Крёбер полагал, что такая склонность может служить объяснением одному любопытному феномену в человеческой культуре, — а именно, тому, что в обработке камня техника откалывания возникла гораздо раньше, чем техника обтёсывания. А я предложил бы встречное толкование: если бы разрушительный импульс был самодостаточен, то его результатом явились бы бесполезные щепки, вроде стружек лесоруба-янки. Однако то обстоятельство, что человек производил орудия, а не просто щепки, доказывает, что человеку свойственно и противоположное стремление, тоже врождённое, и приносящее даже более глубокое — или, во всяком случае, более постоянное — удовлетворение: это созидательный и конструктивный импульс, осознанная тяга к упорядочиванию окружающего мира. Этот принцип и лежит в основе всякого биологического развития, бросая вызов законам энтропии; и ему принадлежит главенствующая роль как в человеческой культуре, так и в целенаправленном развитии.

Этот конструктивный крен заметен уже на самых ранних стадиях взросления. Как показали опыты Арнольда Гезелля, если оставить младенца, ещё не умеющего говорить, наедине с кубиками, то он рано или поздно примется водружать их один на другой: это так же верно, как и то, что в другое время он способен яростно расшвырять их по полу. Поэтому мы с полным основанием можем приписать нашим далёким предкам те качества, которые Эрих Фромм сегодня усматривает в сновидении: «Выражение как самых низких и иррациональных, так и высоких и ценнейших функций нашего сознания».

И тем не менее, наблюдая за человеком в ту далёкую эпоху, когда он делал лишь первые твёрдые шаги в сторону культуры, мы должны допустить, что разрушительные

человеческие инстинкты обретали выражение куда легче, чем созидательные побуждения. Именно из-за отсутствия отдушин он, возможно, преодолевал, собственные внутренние блокировки и разочарования припадками ярости, панического страха — столь же свободными от участия разума, что и поведение современных малолетних преступников, которые пребывают в равном неведении относительно дисциплинарных норм и ограничений существующей культуры. Должно быть, приступы беспричинной ярости и неистовства стали известны человеку задолго до того, как началась история. Но, к счастью для наших далёких предков, такие всплески иррационального начала были ограничены их слабостью: человек, вооружённый только руками, ногами и зубами, способен нанести лишь незначительный вред другим людям, и ещё меньший — окружающей среде; даже если при нём камень или дубинка, силы его ограничены, — он набрасывается разве что на совершенно беззащитных существ. Настоящие оргии разрушительного инстинкта, мощные коллективные выплески ненависти стали возможными лишь тогда, когда цивилизация изобрела способы для их осуществления. Если сновидение открывало перед человеком обе отдушину, то поначалу обстоятельства, вероятно, способствовали более благополучному исходу.

Опять-таки, рассматривая развитие человека в доисторические времена, следует учитывать демонические побуждения бессознательного начала: ведь разве они не искушают нас и сегодня? «Сновидение, — заметил Эмерсон, — снимает наряд внешних обстоятельств, вооружая нас ужасной свободой, так что в разум вторгаются любые желания». Прежде чем человек достиг некоторой доли самосознания и нравственной дисциплины, эта ужасная свобода, должно быть, время от времени обращалась против него самого. Правда, Бронислав Малиновский [7] был склонен преуменьшать степень дикарской патологии, стремясь уравновесить чрезмерный упор, какой делали на такие отклонения «цивилизованные» исследователи, покровительственно недооценивавшие способности современных первобытных народов — даже их способность к логическому мышлению.

Однако, исправляя одну ошибку, Малиновский совершил другую: он странным образом проглядел те мощные иррациональные составляющие, которые по сей день укоренены в кодексе и в поведении цивилизованного человека. Возможно, в историческую эпоху сфера низменной иррациональности лишь расширилась, как это произошло и с коллективной тягой к разрушению. Но было бы странно, если бы эта область иррационального не существовала уже с самого начала, то разрастаясь, то уменьшаясь, но никогда не поддаваясь полному искоренению или подчинению; с ней всегда приходилось считаться, поскольку она постепенно внедрялась в саму культуру, которая была порождена отчасти для того, чтобы совладать с нею.

К счастью, эту сторону нашего обсуждения можно подкрепить доказательствами. Рассмотрим один яркий случай первобытной иррациональности, зафиксированный в Южной Африке. Он иллюстрирует главные функциональные аспекты сновидения: это иллюзия, проекция, исполнение желаний, отдаление от рациональной оценки и, наконец, способность приводить к слепому злодейству и разрушительности.

«Однажды майским утром в 1856 году, — читаем мы, — девушка из племени ксоса пошла к речке набрать воды и там повстречала духов. Позднее в то место отправился её дядя и заговорил с пришельцами... Духи объявили, что пришли для того, чтобы помочь людям ксоса

прогнать англичан со своей земли. После того, как, повинувшись сверхъестественным повелениям, люди перебили множество скота в жертву духам, упомянутый дядя — Умхулаказа — приказал уничтожить весь скот в загонах и всё зерно в амбарах. Если это будет исполнено, то настанет земной рай: прекрасные стада, насчитывающие многие тысячи голов, явятся из недр земли и заполнят собой пастбища; возникнут огромные просяные поля с уже созревшим урожаем. Не станет больше забот и болезней, а к старикам вернутся молодость и красота. Дядю послушались, было забито двести тысяч голов скота. А в результате в скором времени племя ксосо почти полностью вымерло». (Д. М. Тил, «Южная Африка».)

Здесь естественное негодование народа, чьи территории заняли нахальные белые, породило (поскольку у туземцев не было более действенного способа выдворить чужаков) сновидческие образы всеобщего освобождения, которое будет сопровождаться гигантским жертвоприношением и полным искуплением. Такие побудительные архетипические грёзы случались нередко в историческую эпоху: целая цепочка сходных видений, обещавших спасение и уже в нынешнее время нашедших выражение в так называемых «культурах карго» Южных морей, с сочувствием описала Маргарет Мид; а они, в свой черёд, соответствуют другим индейским культурам — например, бытовавшему в 1890-е годы культу «танца призраков» с его обещанием, что «предки возвратятся, дичь появится в изобилии, а белый человек будет изгнан».

Однако, если задуматься о явной неспособности подобных эскапистских грёз совладать с действительностью — собственно, даже об их губительной тенденции лишь ухудшать дурное положение дел, — то возникает вопрос: как получилось, что эта склонность к видениям, которая зачастую направляет человека по ложному следу и вселяет в него обманчивые побуждения, которая приводит к разрушительным действиям и указывает на фальшивые цели, всё-таки сохранялась на протяжении многих веков и при этом не сильно повлияла на способность человека к выживанию? Сновидение было явно палкой о двух концах. Если бы, в конечном счёте, не существовало некоего перевеса с стороны созидательного начала — по-видимому, лёгкого, но достаточно решительного, — то, несомненно, оно бы только умножило число известных отклонений в человеческом поведении, так что положение сделалось бы уже непоправимым.

Опасности, исходившие от кипящего и бурлящего человеческого бессознательного, со временем стали уменьшаться — по-видимому, благодаря особому дару разумного прозрения человека, когда он наконец стал пользоваться языком: ибо он понял, что сновидения следует искусно истолковывать, прежде чем что-либо совершать, опираясь на них. Задолго до того, как появились исторические свидетельства о существовании шаманов, жрецов, гадалщиков или оракулов, вероятно, в каждой общине имелся свой мудрый старец, умевший толковать сны, соединяя собственные догадки с заслуживавшим доверия опытом предков. Но прежде чем это произошло, древнему человеку понадобилось проделать долгий путь. Пока он не научился сдерживать свои инстинктивные порывы, приостанавливать их немедленное воплощение в действие и отвращать свои эгоистические устремления от неподобающих целей, его поступки, порой оказывались столь же самоубийственными, как описанный Тилом поступок народа ксосо. Однако если следовать такой гипотезе, то те, кто допускал чересчур крупные ошибки, попросту погибали; таким образом, развитию

человеческой культуры способствовало появление людей, чьё поведение было достаточно сдержанным или находилось под строгим контролем, тем самым оставаясь в рамках животной нормы «здравости».

До тех пор, пока не были заложены прочные основания для порядка, человеку, как мы теперь видим, было почти необходимо обуздывать свои созидательные инстинкты в той же мере, что и разрушительные. Возможно, именно поэтому вся культура, вплоть до нынешних времён, сосредоточивалась на своих связях с прошлым, так что даже новые веяния преподносились как возвращение вспять к старым истокам. Архаическое общество не без оснований относилось к новаторам и изобретателям с таким же враждебным недоверием, что и Филипп II Испанский, который причислял их — тоже не без оснований — к еретикам. Даже сегодня нам известна эта опасность, ибо неуправляемая созидательность в области науки и изобретений подпитывает бессознательные демонические порывы, которые довели всю нашу цивилизацию до состояния опасной неустойчивости. Такое положение усугубляется и тем, что в этот критический момент мы отвергли, видя в них оскорбление нашей рациональности, исконные формы нравственной дисциплины и самоконтроля, изобретённые человеком в древности.

Полученные нашими военачальниками и политическими лидерами «указания» — изобретать атомные, бактериологические и химические средства уничтожения всего человечества, — имеют тот же психологический статус, что и послание, переданное девушкой-косою: это навеянные самовнушением галлюцинации, бросающие дерзкий вызов всем историческим заветам человеческого опыта. Тот факт, что эти грёзы прикрываются псевдорациональным именем передовой теоретической науки и оправдываются как мера по национальному «выживанию», не способен сокрыть их безграничной и коварной иррациональности, начисто порвавшей даже со свойственным любому животному инстинктом самосохранения.

Однако, в отличие от достойной жалости ошибки косою, ту колоссальную ошибку, или «катастрофу», которую уже вовсю готовят Пентагон и Кремль, не сможет искупить ничто.

## 4. Первичные искусства порядка

Наконец нам предстоит разглядеть ту тропу вдоль разбитой старой гати — упорядоченной активности, — уже просевшей и почти незаметной, которая вела к человеческой культуре. Мы должны мысленно преодолеть расстояние между непосредственно воспринимаемым миром животного, с его ограниченным кругозором и вынужденным выбором, и первыми несущими освобождение проблесками человеческого разума — хаотичного, частично погружённого в туман бессознательности, то и дело прерываемого вторжениями сновидений. Нам нужно последовать за древним человеком по этой болотистой почве, где в течение сотен веков лишь немногочисленные скользкие кочки засвидетельствованных знаний служили опорой его ногам и побуждали его к стойкости до тех пор, пока он не выбрался на всё ещё узкую полосу твёрдой земли.

Каким же образом человеку удалось построить эту гать? Когда он бросал первые камешки в бескрайнюю трясику бессознательного, — это несомненно, было куда большим подвигом,

нежели позднейшее строительство каменных мостов или даже ядерных реакторов. Я стремился показать, что хотя рано пробудившаяся в человеке сообразительность и дала ему преимущество перед другими животными-соперниками, в некоторой степени освободив его от наиболее грубых инстинктивных порывов, — это не помогло ему в той же мере совладать и с хаотичными побуждениями его гиперактивной психики; такой, во всяком случае, предстаёт картина благодаря позднейшим свидетельствам. Беспорядок внутри его души едва ли возмещала его жизнь, проходившая по принципу «всё или ничего»: ведь поиски пропитания, добывание пищи зависело скорее от удачи, чем от усердного прилежания человека, и потому он то пировал целую неделю, то целую неделю голодал.

Чисто органические функции в самом деле порождают нечто вроде собственного порядка и внутреннего равновесия: животные инстинкты изначально функциональны и целенаправленны, а потому — в обозначенных для них пределах — рациональны; иными словами, они отвечают ситуации и способствуют биологическому выживанию и воспроизводству вида. Человеку же пришлось преобразовать и заново утвердить эти импульсы на более высоком уровне; а для того, чтобы такое преобразование стало возможным, ему понадобилось выстроить в некой упорядоченной последовательности свои повседневные дела, а также научиться улавливать связь между непосредственно воспринимаемыми предметами и теми событиями, которые произошли раньше или должны случиться в будущем. Поначалу это наверняка имело отношение к сугубо телесным нуждам человека: например, он заметил, что незрелые плоды, съеденные сегодня, «означают» боли в животе на завтра.

Видимо, был длительный период, когда пробуждавшиеся способности древнего человека подталкивали его к осознанному мышлению и отчётливым идеям, и одновременно бесцельный лепет подталкивал его к речи; и в результате человек оказывался ошеломлён невозможностью выразить то, что всё ещё оставалось невыразимым. Всем нам знакомо это мучительное состояние, когда вдруг ускользает из памяти какое-то имя или слово или когда мы о чём-то глубоко задумываемся и вдруг понимаем, что интуитивный проблеск невозможно передать обычными словами, поскольку для этого требуется совершенно новый словарный запас. Для древнего человека это бессилие, эту досаду усугубляло ещё и отсутствие чётко обозначенных жестов, которые могли бы послужить ему неуклюжей заменой или некоторым подспорьем. Задолго до того, как в уме человека зародились слова, он был вынужден найти другой способ выражения.

Что оставалось делать нашим первобытным предкам в такой ситуации? Вероятно, они были вынуждены прибегнуть к единственно возможному тогда доступу — к собственному телу. Требовалось именно всё тело, а не какие-то отдельные его части, ибо те органы, что отвечают за речь и за владение искусствами, ещё только предстояло мобилизовать и вымуштровать. На этом низком уровне у многих, разнообразных, животных существуют и средства выражения, и зачаточные способы общения. Более поздний пример такого первобытного способа победить это невыносимое немое разочарование можно найти и в литературе — в повести Германа Мелвилла о британском моряке Билли Бадде. Официально обвинённый в измене коварным доносчиком, Бадд не находит слов, чтобы выразить весь свой ужас и доказать свою невиновность. Лишившись дара речи, он отвечает своему обвинителю на единственном доступном ему языке: он наносит Клэггарту смертельный

удар.

Итак, древний человек поначалу преодолевал свой бессловесный паралич при помощи жестов и действий, сопровождая их грубоватыми криками: ведь к его намеренным движениям следовало привлечь внимание окружающих и вызвать какой-то ответ; так бывает с маленькими детьми, когда, освоив что-то для себя новое, они настойчиво призывают: «Посмотри на меня!» Воплощение и установление различных смыслов было не чьим-то индивидуальным открытием, а общим достижением; жесты и звуки приводились в согласие друг с другом до тех пор, пока за ними не закреплялось точное значение, знание о котором можно было передавать по наследству.

Никого бы не удивило, если бы эти первые попытки выражения — в отличие от прямых сигналов — совершались не ради каких-либо практических целей, но являлись (как и у других животных) неким гормональным откликом на разные сезонные события: вероятно, человек осознал существование неба, времён года, земли или противоположного пола гораздо раньше, чем всерьёз обратил внимание на самого себя. Когда подобный «разговор» вёлся целой группой людей, находившихся под сильным эмоциональным воздействием, то звуки становились более ритмичными и согласованными; а поскольку ритм сам по себе приносит живым существам удовольствие, то такие звуки чаще повторялись, что, в свой черёд, закрепляло появившиеся навыки.

Такие повторяющиеся движения и жесты, совершавшиеся в одном и том же месте или в контексте одних событий: восхода солнца, новолуния, появления растительности, — постепенно приобретали некий смысл, хотя подобные пантомимические ритуалы, наверное, потребовалось выполнить бесконечное число раз, прежде чем этот смысл делался достаточно определённым, чтобы его распознавали и вне непосредственного контекста общего обрядового опыта. Даже сегодня, как напомнил нам Юнг, люди воплощают идеи гораздо раньше, чем начинают постигать их; а ниже уровня сознательности порой болезнь выражает некий психологический конфликт, ещё не нашедший выхода на поверхность.

В начале было слово? Нет — в начале, как утверждал Гёте, было дело: осмысленное поведение предшествовало осмысленной речи; оно-то и сделало её возможной. Однако единственным делом, которое могло обрести новое значение, было действие, совершаемое коллективно, в сообществе с другими людьми, постоянно повторяемое и потому совершенствуемое повторением: иными словами, это было отправление ритуала.

С течением времени подобные обряды стали обособлять, чтобы ничто не могло помешать их точному исполнению; такая обособленность и точность исполнения и наделила их новым качеством — «священным» характером. Прежде чем появилось нечто вроде связной речи, древний человек, вероятно, научился совершать определённые цепочки связных действий, обладавших многими свойствами вербального языка, при этом испытывая сходные чувства, которые впоследствии назовут религиозными. Протоязык ритуала заложил строгую основу порядка, который со временем окажется внесён во многие другие способы выражения, бытующие в человеческой культуре.

Ритуалу — во всех его многочисленных проявлениях — сопутствовал ряд характерных черт, по-видимому, врождённых, поскольку они прослеживаются в не тронутым воспитанием поведении младенцев и маленьких детей, а также в племенных объединениях современных примитивных народов: это потребность в повторе, тяга образовывать группы, чьи члены отзывались бы на сигналы друг друга и подражали бы друг другу; и любовь к играм, где «понарошку» что-то или кого-то изображают. Сочувствие, сопереживание, подражание, отождествление, — вот понятия, которыми пользуется антрополог Маргарет Мид, говоря о передаче всякой культуры; благодаря тому, что всё это уже существовало у млекопитающих, и было особенно заметно у приматов, у человека оно нашло ещё более явное выражение. В рамках обряда эти качества порождали упорядоченную последовательность, которую можно было запоминать, повторять и передавать младшему поколению. Несомненно, что общедоступный смысл должен иметь истоки; давать названия, описывать, рассказывать, приказывать и разумно общаться человек стал сравнительно поздно. Вначале же человек общался с себе подобными с помощью телодвижений.

Следует заметить, что такое толкование поведения древнего человека не должно покоиться исключительно на догадке. Ибо можно рассматривать первоначальные человеческие обряды, сличая их с более древними повадками животных, послужившими для них фоном: брачные игры многих зверей и птиц, страстные выкрики в момент наивысшего сексуального возбуждения, вой волчьих стай на луну, пение гиббонов (произведшее большое впечатление на Дарвина), ночные пляски слонов, — всё это подкрепляет мысль о том, что ритуал, сыгравший чрезвычайно важную роль в человеческом развитии, старше языка.

Первобытные гоминиды, прежде чем смогли произнести членораздельное слово, наверное, хором что-то бормотали или мычали нараспев; а прежде чем человек научился петь, он, вероятно, уже танцевал или участвовал в драматической пантомиме. Всем таким представлениям был присущ строгий порядок ритуала: группа людей совершала одно и то же действие в одном и том же месте одним и тем же образом, не допуская ни малейших отступлений. Смыслы, рождавшиеся в таком ритуале, имели другой статус — ибо они подразумевали более высокую степень отвлечённости, — отличавший их от тех зрительных и звуковых сигналов, с помощью которых общаются и обучают потомство животные; а эта высшая степень отвлечённости со временем высвободила смысл из тисков «здесь и сейчас».

Много лет назад один мой друг, тоже видный психолог, написал мне письмо по поводу моей книги «Техника и цивилизация». В нём он заметил: «Меня всегда чрезвычайно удивляло, почему дети (особенно мальчики) всегда так любят усердно повторять что-нибудь: дотрагиваться до предметов определённое число раз, считать ступеньки, повторять слова и так далее. У взрослых это проявляется как симптом, связанный с неосознанным чувством вины. Этот феномен имеет отношение к магии и религиозному ритуалу, однако фундаментальнее, нежели они. Ребёнок желает, чтобы ему заново рассказывали сказку непременно слово в слово, — и это самая элементарная форма привязанности к механизму, не ведающему произвола и неожиданных причуд».

Прошло тридцать лет, прежде чем я отважился пойти по следу этой подсказки. Теперь же единственное, что я могу добавить от себя, — это предположить, что более поздним действиям, указанным моим другом, исторически предшествовал групповой ритуал. Если

чувство вины каким-то образом проистекало изначально из природы зачастую «преступных» снов человека, то механический порядок ритуала, возможно, стал благополучной альтернативой невроза на почве принуждения.

Я полагаю, что при помощи ритуала древний человек впервые вступал в столкновение с собой как с чужаком и выходил победителем, отождествлял себя с космическими событиями, находившимися за отведёнными животным пределами, и притуплял то беспокойство, которое порождали огромные, но всё ещё преимущественно неостребованные способности его мозга. На значительно более позднем этапе эти зачаточные импульсы соберутся в одно целое под знаком религии. Действия по-прежнему «говорят громче, чем слова», а ритуальные движения и жесты явились самыми ранними предшественниками человеческой речи. То, что ещё нельзя было сказать словами или изобразить в глине или на камне, древний человек вначале выплясывал или показывал мимикой; если он махал руками, он изображал птицу, а если группа людей становилась в круг и принималась мерно вращаться, то, быть может, они изображали луну. Говоря вкратце, то, что Андре Вараньяк удачно назвал «технологией тела», выражаемой посредством танца и миметических движений, было и древнейшей формой какого бы то ни было технического порядка, и древнейшим проявлением экспрессивного и поддающегося выражению смысла.

Когда установилась нерушимая церемония обряда, то в жизни первобытного человека появился надёжный порядок — порядок, которого он прежде не находил ни в своём непосредственном окружении, ни даже в узорах звёздного неба. Весьма долго — вплоть до возникновения древних цивилизаций — случалось такое, что даже возрастание и убывание луны или возвращение солнца после зимнего солнцестояния казалось чем-то непостижимым и пробуждало коллективную тревогу. Прежде чем человек мог обнаружить и проследить порядок во внешнем мире, ему вначале потребовалось путём непрерывных повторов установить порядок внутри себя. И ту роль, которую играл в этом процессе ритуал с его точностью, едва ли можно переоценить. Изначальной целью ритуала было породить порядок и смысл там, где их не было, укреплять их там, где они появились, и восстанавливать их, когда они утрачивались. То, что старомодный рационалист счёл бы «бессмысленным ритуалом», являлось скорее — следуя нашему толкованию — древней основой всех возможных разновидностей порядка и значимости.

Учитывая эту тесную и древнюю связь, мы теперь склоняемся к тому, чтобы поставить ритуал рядом с религией и даже усмотреть в ритуале особый религиозный язык, поскольку наиболее важные таинства, космические и божественные, с которыми имеют дело возвышенные религии, слова лишь затемняют и принижают. Ритуал же пронизывает всю человеческую жизнь: любое действие, которое поддаётся упорядоченному повтору (пусть даже это будет обыкновение обедать раз в неделю с приятелем или надевать строгий вечерний костюм на торжественную церемонию), имеет в своей основе не что иное, как ритуал. Вначале повторяющееся действие породило смысл, а позднее, когда изначальный повод перестал существовать или изначальное побуждение прошло, механический повтор стёр или сместил этот смысл. Поскольку в нынешнее время ритуальный порядок в значительной мере уступил место порядку механическому, нынешний протест молодого поколения против машин породил обычай прославлять беспорядок и стихийность; но и это,

в свой черёд, превратилось в ритуал — столь же принудительный и столь же «бессмысленный», что и отвергаемая им рутина.

## 5. Искусство притворства

Как только человеческий ум начал преодолевать рамки животной жизни, необходимым условием для взаимной помощи стало единомыслие. Ритуал способствовал возникновению общественной солидарности, которая без него могла бы вовсе не сложиться из-за неравномерного развития человеческих талантов и преждевременного становления индивидуальных различий. А ритуальное действие порождало общий эмоциональный отклик, в значительной мере подготавливавший человека к сознательному совместному труду и систематическому мышлению.

Если говорить об обретении общего опыта, то смысл в его символической форме впервые вычленился, отделившись от повседневных дел — распознавания съедобных растений или враждебных животных. Некоторые из этих смыслов, вначале проявившись в пантомиме и танце, впоследствии перешли в спонтанные крики, сопровождавшие некое общее действие; а они, в свой черёд, принимали более чёткую и определённую форму в процессе повторения.

Опираясь на рассказы о современных примитивных народах, можно вообразить, как первобытные люди собирались группами, становились лицом к лицу, повторяли одинаковые жесты, откликались на одинаковые выражения лица, двигались в одном едином ритме, издавали одинаковые спонтанные звуки — звуки веселья, звуки скорби, звуки экстаза; так все члены группы становились едины. Возможно, это был один из наиболее выгодных путей, приведших к возникновению речи, — задолго до того, как охота на крупную дичь сделала речь важным подспорьем в совместных нападениях.

Несомненно, ритуалу понадобилось развиваться многие и многие годы, прежде чем в человеческом сознании смогло хотя бы смутно зародиться нечто похожее на определённые, связанные и отвлечённые значения. Но что здесь поражает, что действительно придаёт вес догадке о том, что ритуал предшествовал всем прочим формам культуры, — это одна особенность, которую подметил выдающийся философ языка Эдвард Сэпир на примере австралийских аборигенов, а именно: сколь бы ничтожной ни была материальная культура народа — в отношении одежды, жилищ или орудий, — она непременно будет наделена богатейшим разнообразием обрядовых церемоний. И мы выскажем не просто догадку, а сделаем в высшей степени вероятный вывод, если предположим, что древний человек достиг культурного расцвета именно благодаря общественным действиям, связанным с обрядами и с языком, а не благодаря одному только использованию орудий; и что изготовление и применение орудий длительное время отставало от церемониальных средств выражения и сотворения речи. Вначале наиболее важными орудиями для человека были те, что предоставляло ему его собственное тело: упорядоченные звуки, образы и движения. А его старания сделать эти знаки общим достоянием и способствовали сплочению людей.

Проницательные замечания покойной Лили Пеллер, наблюдавшей за игрой маленьких детей, проливают особый свет на назначение ритуала в жизни древнего человека. Исследовательница указывала, что тупое, упрямое повторение, которое крайне раздражало бы взрослого человека, тем не менее доставляет большое удовольствие ребёнку; это известно многим родителям, выбивающимся из сил, когда их чадо заставляет множество раз играть в одну и ту же игру или рассказывать ту же сказку, не меняя ни слова.

«В раннем возрасте, — пишет г-жа Пеллер, — игра требует постоянного повторения, потому что приносит огромное удовольствие». Может быть, и древнему человеку было знакомо это нехитрое детское удовольствие, и он всячески стремился получить его? Самым маленьким детям свойственны и буйная непосредственность, и страсть к монотонным повторениям, доставляющие им равное удовольствие; а поскольку такая врождённая восприимчивость ко всему, что можно запомнить и повторить, была укоренена столь глубоко и приносила столь осязаемое субъективное вознаграждение, то, по-видимому, она и послужила отправной точкой всего развития человека.

Короче говоря, потребность в ритуальной точности, субъективное удовлетворение, приносимое повторяемым обрядом, безошибочный поиск и нахождение ожидаемого ответа — всё это уравновешивало крайнюю чувствительность и психическую «открытость» и неустойчивость человека, тем самым позволяя его уму достигать более высоких ступеней развития. Однако предпосылки, обусловившие становление ритуала, принадлежат детству человечества, и возвращение к механическому ритуалу, в котором повторение, лишённое важного смысла или цели, служит единственным источником удовольствия, означает регресс, откат на младенческий уровень.

Так что же — большая ошибка: неумение оценить всю важность ритуала в ту пору, когда в жизни человека ещё не было других способов значимого выражения, или нежелание понять, какую угрозу для человеческого развития представляют современные механические массовые ритуалы? Ведь в последних порядок всецело передан машине, и всё, что не служит машине, напрочь отбрасывается. А идея, выдвинутая Маршаллом Маклюэном в оправдание средств массовой коммуникации (в том смысле, что сами средства уже и есть цель), указывает на то, что происходит возврат к ритуалу на самом младенческом, дочеловеческом уровне.

Изначальная потребность в порядке и достижение этого порядка с помощью повторяющихся действий, всё более формализованных, были, как я считаю, основополагающими для всего развития человеческой культуры. Там, где этот порядок становился достаточно прочным и надёжным, человек обретал некоторый контроль над собственными иррациональными порывами, некоторую защиту от грозного разгула природных стихий и — что тоже немаловажно — некоторую способность предсказывать поведение своих товарищей, впрочем, зачастую непостижимое. Наконец, он обретал и некоторое умение переносить этот порядок на природное окружение и обнаруживать мощное свидетельство порядка в движениях планет и в устройстве космоса в целом. Но если этот порядок вдруг рушится в уме человека, как это бывает при мозговых травмах, то простейшие события, как показал Курт Гольдштейн, становятся необъяснимыми и вызывают тревогу.

Однако не следует преувеличивать социальную пользу первобытных ритуалов, из которых выросли многие другие виды человеческой деятельности, сколь бы велика и значительна она ни была. Ибо ритуал всегда нёс в себе частицу той самой иррациональности, ради преодоления которой он и существовал.

Сюзанна Лангер, с воодушевлением рассказывая о символическом ритуале как о важном факторе человеческого развития, особо заметила, что ум древнего человека не просто запоминал и отбирал чувственные впечатления, не просто «наклеивал ярлыки» или «каталогизировал» предметное содержание своей среды: он создавал осмысленный мир, целый космос, причём формируя его и управляя им, он достигал такого успеха, в котором ему длительное время было отказано, когда он пытался воспроизвести природную сферу своего обитания.

Однако во всём этом была и одна отрицательная сторона, о которой не следует забывать: она даёт о себе знать и сегодня. Автору книги «Философия в новом ключе» не удалось объяснить, почему на протяжении всей истории в столь высоко ценимых церемониалах накопилось столько явных нелепостей, магических фокусов, детского самообмана и параноидального самодовольства. Ритуал, хотя и направлял в упорядоченное русло неосознанные импульсы человека, зачастую мешал ему действовать разумно и препятствовал развитию сознания. В силу самого своего успеха обряды слишком часто приобретают автоматизм бессознательного существования и тем самым приостанавливают человеческое развитие.

Мне вспоминается известный пример из области археологии. Что мы можем сказать по поводу двух сотен отпечатков рук в палеолитической пещере в Гаргасе? Многие из этих рук были жестоко изувечены — на них отсутствует по два, три или даже четыре пальца. Подобные отпечатки были найдены по всему миру — в Америке, Индии, Египте и Австралии. Они заставляют предположить, что в древности существовал какой-то погребальный обряд (вроде обычая выбивать зубы, до сих пор практикуемого в некоторых племенах), который зачастую оборачивался для живых увечьем. Хотя весьма вероятно, что порядок и смысл впервые обрели форму в ритуале, следует допустить, что в нём же были укоренены беспорядок и заблуждение, длительное время господствовавшие в магических действиях, от которых оставались не вполне свободны даже трезвые умы. Ампутация пальцев, как и другие разновидности ритуальной хирургии, вроде кастрации, говорят об особой человеческой черте, не имеющей себе подобий в животном мире: это добровольное самопожертвование. Хотя о различных формах таких жертвоприношений писалось часто и подробно, им всё-таки до сих пор не найдено удовлетворительного объяснения; столь же необъяснимо и то чувство вины, с которым часто связывали и жертвоприношения, и ритуальные повторы. Светлому лучу сознания ещё только предстоит проникнуть в этот тёмный уголок человеческой психики.

Если бы нам понадобилось доказывать древность ритуальной практики, то уже то обстоятельство, что нам трудно избавиться от соблюдения ритуальных формальностей даже сейчас, на весьма высокой ступени цивилизации, — уже послужило бы более чем веским аргументом. Спустя много лет после создания языков, обладающих большой грамматической сложностью и приспособленных для передачи метафизических тонкостей,

практика ритуальных повторов — согласно нашей гипотезе, некогда совершенно необходимая для порождения смысла, — укрепилась и в сфере словесного выражения. Даже сравнительно поздние документы — такие, как древнеегипетские погребальные тексты или шумерские и аккадские эпические поэмы, — обнаруживают ту же нехитрую магию, которая и привела к возникновению отвлечённых значений: одни и те же фразы, порой весьма длинные, повторяются снова и снова, так что под конец утомлённый современный переводчик вынужден попросту опускать их, лишь указывая звёздочками на их присутствие в оригинале. Но нам вовсе не обязательно мысленно возвращаться на пять тысячелетий назад, чтобы обнаружить подобные атавизмы. Они с той же очевидностью прослеживаются в традиционных балладах и песнях, где хор повторяет несколько раз одинаковый припев; нередко эти припевы состоят только из бессмысленных слогов, что опять же весьма тесно роднит их с обрядами первобытных людей. Ведь слова обретают смысл благодаря употреблению и ассоциации с предметами; и первые предложения, произнесённые человеком, вероятно, были куда нелепее, чем любой из лимериков Эдварда Лира.

Опять-таки здесь нам приходится довольствоваться лишь догадками, так как явных свидетельств в их пользу уже никогда не найти. Сегодня генетики могут экспериментально выводить породу животных, близких к предкам современных быков; однако нечего и надеяться, что им удастся проделать нечто похожее с человеком, «выведя» какую-то разновидность наших первобытных предков, и уж тем более — воскресить ту пору, когда из обрядовых действий впервые возник смысл. Хотя переход от жестов и телесных упражнений к танцу и песне, от песни к речи, представляется достаточно правдоподобным объяснением, возможно также, что все три вида деятельности начали развиваться одновременно, а вышеназванная последовательность может указывать лишь на различные темпы их дальнейшего развития.

Тем не менее, возможно, прав Морис Боура, придерживавшийся мнения, что значительное число первобытных танцев, лишённых словесного сопровождения и являющихся полностью самодостаточными и самопоясняющими, говорит о том, что таков был изначальный порядок развития; тем более, что дошедших до настоящего времени песен, молитв и обрядов крайне мало, и в них часто используются архаичные, уже не поддающиеся пониманию выражения, что, тем не менее, не лишает их силы.

Короче говоря, суеверия и ритуалы, представлявшие более ранним исследователям обрядов — таким, как Джеймс Фрэнгер, — результатом ошибочных суждений, не являлись досадными недоразумениями, тормозившими развитие человеческой культуры, а, напротив, служили основой устойчивого общественного порядка и всякой рациональной системы толкований. Само действие было рациональным, а цель его — здоровой, пусть даже содержание его таковым не оказывалось. То, что Хёйзинга говорит об игре, верно также в отношении ранних попыток человека выражать себя в ритуале: ритуал порождает порядок и является порядком; по сути, он, возможно, является исконной формой того «притворства», которое неотделимо от человеческой культуры вообще: от игры, драмы, церемонии, состязания, — словом, ото всего круга символических действий. К этой древнейшей форме выражения как нельзя лучше подходит афоризм Джамбаттиста Вико, который гласит, что человек способен по-настоящему понять лишь то, что он сам может создать. Ритуал проложил дорогу к постижимому и осмысленному, а в конечном итоге — к любым

конструктивным усилиям.

Это основополагающее предназначение ритуала давным-давно разгадал Фридрих Шиллер, хотя, подхватив романтический протест против всяческих традиций и условностей, он определил это предназначение презрительными словами: «То, что всегда было и всегда возвращается, то, что пригождается завтра, потому что пригождалось сегодня: «und die Gewohnheit nennt er seine Amme» [8]). Привычка и в самом деле стала для человека няней. Задолго до того, как навык откалывания и обтёсывания камня связал руку и глаз прочной цепочкой рефлексов, надо полагать, ритуал уже установил порядок, сохранил прошлое и удержал этот новонайденный мир в целости. Однако за изобретение ритуала человеку пришлось расплачиваться: появилась тенденция переоценивать установления прошлого, боязнь менять в них что-либо, даже если речь шла о незначительных нововведениях. Так что Шиллер был прав. Привычка сама по себе, как ни парадоксально это звучит, — уже сильный из формирующих привычку наркотиков; ритуал же является привычкой, усиленной коллективной формой бытования. После того, как ритуал сделался основой для всех прочих видов порядка, следующим шагом не считая развития языка) была проекция значительной части побудительного механизма вовне человеческой личности; а этот процесс, возможно, потребовал столь же длительного времени, что и первоначальное преобразование действий в значения.

До сих пор, ясности ради, я говорил о ритуале так, как если бы его можно было толковать как обособленную последовательность коллективных действий; но при этом не следует забывать, что с самого начала действия эти обладали одним особенным качеством: они имели отношение к тому, что было сакральным. Говоря о «священном», я имею в виду нечто отрешённое от насущных потребностей простого самосохранения в силу некоей важной связи, существующей между живыми и мёртвыми. Если ритуал явился самой ранней формой работы, то это была священная работа, а то место, где она совершалась, было священным местом — как правило, располагавшимся возле источника, большого дерева или камня, в пещере или гроте.

Люди, особенно опытные в этих священных трудах, со временем стали шаманами, магами, волшебниками, наконец, царями и жрецами — то есть специалистами, отделившимися от остального племени благодаря собственным талантам, благодаря своему дару видеть сны и толковать сны, проникать в порядок ритуала и истолковывать знаки, которые подаёт природа.

Создание этой обособленной сферы, «царства священного», служившего связующим звеном между зримым и незримым, между временным и вечным, явилось одним из решающих шагов в преображении человека. Надо полагать, с самого начала эти три аспекта ритуала — священное место, священные действия и главные исполнители священного культа — в определённый момент стали одновременно обретать религиозный смысл. Вместе с тем, все три составляющих менялись так медленно, что они сохраняли нить преемственности на фоне многих позднейших изменений, происходивших в окружающей среде или общественном строе. И мы не сумеем до конца понять, какие совокупные силы сделали возможными технологические цивилизации, возникшие в четвёртом тысячелетии до новой эры, если не рассмотрим этих колоссальных перемен на фоне многовекового существования

священных обрядов.

## 6. Ритуал, табу, нравы

Из сказанного выше следует, что хотя ритуальная дисциплина играла важную, даже основополагающую роль в человеческом развитии, она вне всякого сомнения достигала успеха лишь ценой некоторой потери творческого начала. Следовательно, господство ритуала и всех производных от него форм установлений объясняет как раннее развитие человека, так и крайнюю замедленность этого процесса. Длительное время тормоза оставались гораздо мощнее, чем машина, которую они сдерживали.

Где бы мы ни находили архаического человека, мы видим отнюдь не беззаконное существо, вольное делать что ему хочется, когда хочется и как хочется: скорее, перед нами человек, который в каждый момент своей жизни держится осторожно и осмотрительно, подчиняясь обычаям своего рода, воздавая почтение сверхчеловеческим силам — будь это боги-творцы всего сущего, призраки и демоны, связанные с его незабвенными предками, или же тотемы — священные животные, растения, насекомые или камни. Можно почти не сомневаться (хотя и это тоже остаётся догадкой) в том, что древний человек отмечал каждую фазу своего развития подобающими обрядами посвящения, то есть, по сути, универсальными церемониями, которые цивилизованный человек перестал совершать лишь недавно — для того, чтобы поспешно состряпать для них замену вроде книжек «Уход за младенцем и кормление» или «Сексуальные проблемы подростков».

Благодаря запретам и ограничениям, а также в силу благочестивых соглашений, древний человек пытался соотносить свою деятельность с окружающими его незримыми силами, стремясь завладеть частью их могущества, оградиться от их коварства и заручиться их поддержкой (а порой путём волшебства и исторгнуть её у них). И нигде ещё такое осмотрительное поведение не нашло более полного отражения, чем в двух древних установлениях, к которым Фрейд относился с большим подозрением и наивной враждебностью: я имею в виду тотем и табу.

Как указывали Рэдклифф-Браун и Леви-Стросс, понятие тотема, если изучить разнообразные сферы его приложения, обнаруживает многочисленные двусмысленности и противоречия. Впрочем, то же самое относится и к другому наиболее важному понятию — городу, — охватывающему множество различных городских функций и социальных потребностей, которые объединяет лишь приблизительно сходное устройство. Связующим элементом между всеми формами тотема являются особые отношения зависимости от некоего священного предмета или силы, которую подобает благоговейно чтить. На первый, поверхностный взгляд представляется, что привязанность определённой группы людей к одному предку-тотему явилась попыткой избежать губительных последствий кровосмешения внутри немногочисленной общины. Поэтому внутри тотема браки запрещались, а половая связь с членами своего тотема, возможно, каралась смертью.

К сожалению, такое объяснение не выдерживает критики. Дело в том, что формальные сексуальные отношения под знаком тотема сосуществовали с обычной семейной жизнью,

какая наблюдается и среди многих других биологических видов, даже у птиц. Это указывает на специфически человеческую двойственность (или лучше определить её как взаимодополняемость?), обособляющую биологическую и культурную сторону жизни. Сложные правила, регулировавшие родственные отношения у «примитивных» народов, а также их табу, свидетельствуют о том, что человек весьма рано одержал верх над своими грубыми биологическими инстинктами и наделил их особой человеческой формой, повинувшись суровым и осознанным приказам высших аналитических центров.

Порядок тотемного родства закреплялся с помощью табу; изначально это полинезийское слово, которое буквально означает «то, что запрещено». Под это понятие подпадают многие стороны жизни, помимо половых связей: табу распространяется на разновидности пищи, особенно мясо тёмных животных, на трупы, на женщин в период менструации, на игру вождя — вроде серфинга, или на определённую территорию. Действительно, любая часть окружающей человека среды окружения в силу какой-то случайной связи с добрыми или злыми силами может оказаться табуированной.

Эти запреты настолько чужды здравому смыслу, что можно только поражаться — как это делал Фрейд — их невыносимой прихотливости, их своенравному неразумию, их суровому осуждению невиннейших поступков. Порой даже начинает казаться — как это казалось Фрейду, — что те достижения, которые совершил человек, сделав своё поведение рациональным, находятся в пропорциональной зависимости от его способности отвергнуть или отбросить все табу. Но подобное суждение было бы опасной ошибкой с ещё более опасными последствиями. Так же, как в своём отрицании религии, Фрейд основывался здесь на странном предположении, будто обычаи, никоим образом не помогавшие человеческому развитию, а в иных случаях и явно противостоявшие ему, — тем не менее сохранялись на протяжении долгих веков, не утрачивая своего влияния. Однако от Фрейда ускользнуло то, о чём напомнил нам другой, более внимательный исследователь — Рэдклифф-Браун, говоря обо всех формах ритуала: необходимость проводить разграничения между самим методом и социальной целью. Взывая к священным силам, предписывая страшные кары за нарушение табу, древний человек формировал привычки абсолютного контроля над собственным поведением. Потерю свободы в данном случае на длительное время компенсировали коллективная солидарность и предсказуемый порядок.

Мнимая цель порой заставляла табу казаться детскими, несправедливыми или извращёнными: например, женщинам отказывалось в особых привилегиях, которыми пользовались мужчины, а при деторождении происходило наоборот. Однако привычка строго следовать подобным наказам и запретам была чрезвычайно важна, так как помогала человеку достичь порядка и согласованности в прочих сферах.

Для противодействия незаконному абсолютизму своего бессознательного человеку требовалась некая законопослушная сила, не менее абсолютная. Вначале для необходимого равновесия было достаточно одного лишь табу: это и был самый ранний «категорический императив» человека. Табу — наряду с ритуалом, с которым оно было тесно связано, — явилось для человека одним из наиболее действенных средств достижения самоконтроля. Такая нравственная дисциплина, укоренившаяся в качестве привычки раньше, нежели её можно было оправдать как рациональную человеческую необходимость, была

основополагающей для человеческого развития.

Проиллюстрируем сказанное примером из быта современного примитивного австралийского народа — зуалайи. По словам Заура, у них существует следующий обычай: когда ребёнок только начинает ползать, мать отыскивает сороконожку, опускает в кипяток, а потом, поймав ручки ребёнка, принимается легонько ударять по ним мёртвым насекомым, напевая при этом такую песенку:

Будь добрым,  
Не воруй,  
Не трогай того, что принадлежит другим,  
Не смотри на чужое.

Будь добрым.

Мать здесь не только воплощает для человеческого детёныша власть, но и связывает её с потенциально ядовитым существом, соединяя свои внушения с символическим нанесением наказания за непослушание. Эти позитивные наставления лишены произвольности приказаний или разрешений. Так, представления о нравственном порядке и порядке умственном развивались бок о бок.

Сейчас западное общество настолько позабыло о древних табу, запрещавших убийство, воровство и насилие, что мы сталкиваемся с малолетними подростками, которые не задумываясь дерзко нападают на других людей просто «для забавы», в то время как взрослые преступники способны обдуманно готовить уничтожение десятков миллионов человек, следуя — несомненно, тоже «для забавы» — некой математической теории игры. Сегодня наша цивилизация скатывается в состояние гораздо более примитивное, гораздо более иррациональное, чем то, в котором находится любое из известных ныне обществ, скованных понятиями табу, — именно из-за отсутствия каких бы то ни было действенных табу. Если бы западный человек мог создать нерушимое табу на бездумное истребление людей, наше общество смогло бы получить гораздо более надёжную защиту как от насилия одиночек, так и от всё ещё грозящих коллективных атомных ужасов, чем ООН или не всегда исправный механизм самоотключения.

Точно так же, как ритуал (если я правильно истолковал его) стал первым шагом в сторону действенного выражения и общения с помощью языка, — так и табу стало первым шагом в сторону нравственной дисциплины. Не будь того и другого, человечество могло окончить свой жизненный путь гораздо раньше, — как это случилось со многими могущественными владыками и народами, не выдержавшими крайне напряжённых условий существования.

Человеческое развитие в каждой своей точке покоится на способности выдерживать напряжение и контролировать его облегчение. На самом низком уровне это касается контроля над мочевым пузырем и кишечником; далее следует осознанное направление телесных потребностей и генитальных побуждений в социально приемлемое русло. Итак, моё предположение заключается в том, что строгая дисциплина, присущая ритуалу, и строгие нравственные ограничения, предписываемые табу, оказались чрезвычайно важны

для формирования самоконтроля у человека, а потому и способствовали его культурной деятельности во всех областях. Только те, кто соблюдают правила, способны играть в игры; и до определённой степени строгость правил и то, насколько трудно выиграть, не нарушая их, придают особую прелесть самой игре.

Словом, вся сфера существования древнего человека, которую современное научное мышление, уверенное в своём интеллектуальном превосходстве, отвергает, была изначальным истоком целенаправленного превращения человека из животного в собственно человека. Ритуал, танец, тотем, табу, религия, магия, — всё это послужило прочной основой для дальнейшего развития человека. Даже первая существенная попытка разделения труда, как указывал А. М. Хокарт, возможно, зародилась из ритуала с его чётким распределением обязанностей и ролей, и только потом была перенесена в область технологии. И всё это берёт своё начало в «далёком прошлом, похожем на сон».

---

Версия #1

Зверобой создал 15 января 2026 23:08:56

Зверобой обновил 15 января 2026 23:11:28